

Золотая краска

Это был типичный завсегдатай пивной: красномордый, высоченный, с толстой шеей и победоносным брюхом. Короче, он был таким, каким хочется представлять себе немецкое пивное быдло. И прицепился к нам именно в пивной, огромной мюнхенской пивной, простирившейся чуть не на сотни метров. Наша местная приятельница, уроженка вообще-то Днепропетровска, но ныне патриотка Германии, уговорила нас взять по кружке пива – здесь, мол, особое место и пиво везут из какой-то особой пивоварни.

Мы стали обсуждать сорта, повышая голос, чтобы перекричать франтоватое, в баварских шляпах с пёрышками, трио в центре зала – скрипка, контрабас и барабан без продыху лупили что-то бравое, чему горласто подпевали румяные пивцы с кружками. И тогда от шумной компании за соседним столом отделился утёс – он казался особенно высоким (потому что мы сидели) – и с широченной улыбкой направился к нам. И если б не эта улыбка, явное послание добрых намерений, то впору было бы испугаться его буйволиной мощи.

Тут надо кое-что пояснить...

Эта встреча произошла лет двадцать назад, в нашу первую поездку по Германии. И длилась она минут сорок от силы, и разговор был коряв, отрывист, иногда мы просто перекивали друг друга, если трио вступало со свежим энтузиазмом. Вообще то первое путешествие по Германии, с заездом в Гейдельберг, Берлин и Франкфурт, Нюрнберг и Дрезден, с десятком выступлений перед новой публикой, с музеями и невероятными парками и дворцами, было настолько сильным впечатлением, что сейчас остаётся только удивляться: что заставило меня записать тем же вечером рассказ нашего случайного собутыльника? Что заставляло меня время от времени вспоминать его и думать о нём, а главное – что заставило сейчас извлечь его буквально из праха распавшейся на горстку ветхих страниц записной книжки и отвести законное место в цепочке этих коротких историй?

Господи, да он с трудом изъяснялся по-русски! А наша приятельница с ещё большим трудом балакала по-немецки, хотя и была лучшей ученицей в их группе по изучению языка.

Понятия не имею, почему это въелось в меня: дымная полутёмная пивная, красномордая глыба рядом, попытки связать непослушные слова...

Само собой, я не стану буквально изображать его языковые потуги. Он оказался восточным немцем, родившимся ещё до войны, после войны учил русский язык. Он и подсел к нам потому, что услышал знакомые слова. И всё повторял восторженно: Россия, Россия... – будто лучшая часть его жизни прошла в каком-нибудь Ленинграде.

– Очевидно, он – дурак, – пожав плечами и отвернувшись, сказал мне муж. – Что за восторги перед страной, искалечившей его детство?

И будто из упрямства перебил собеседника и поправил: мы вовсе не из России, а из Иерусалима, столицы Израиля. Тот ошалел. Восхитился. Это тоже нам знакомо – подумала я – радостное участие немцев в благобытии страны, созданной по причине и по следам их преступлений.

Но этот... Я пригляделась: у него была симпатичная физиономия трудяги. Он сразу доложил, что по профессии он – шофёр-дальнобойщик и в данный момент отдыхает между рейсами. А завтра с утра – тю-тю-у-у! – возвращается в Дрезден на своём трейлере. Свою историю, свою настоящую историю стал рассказывать сходу, без предисловий, будто торопясь вывалить всё и вернуться к товарищам. Так и запомнила его: взлохмаченный, с пот-

ным красным лицом, время от времени он отмахивается большой ладонью от призывов собутыльников вернуться за стол, и то и дело запинаясь в попытке подобрать правильное русское слово.

Пересказываю буквально так, как двадцать лет назад записала в блокноте, чуть ли не конспективно. Почему-то кажется, что таким вот, бедноватым и торопливым, слогом правдивей всего предстает судьбинная мощь его простого рассказа.

Первым браком его отец женат был на еврейке. Молодыми были, влюбились друг в друга, дело нормальное. Но не поладили, очень уж разными были, и разбежались. Мало ли, бывает! Отец женился вторично, уже на немке, и через год родился он, Вилберт, – да, приятно познакомиться... И вот когда Гитлер пришёл к власти и всё это началось... словом, когда по-настоящему запахло жареным, однажды ночью отец молча ушёл и вернулся не один, а с молодой женщиной, черноволосой, кудрявой, с огромными зелёными глазами, в блестящем чёрном плаще (шёл сильный дождь!). И мать её приняла. Мать была замечательным человеком, хотя и излишне прямолинейным. Он, Вилберт, тогда совсем был маленьким, года четыре, поэтому не следил за лицом матери, а жаль: сейчас дорого бы дал, чтоб посмотреть, как эти две женщины друг друга разглядывали.

Отец помог той спуститься в подвал и – знаете что? – до самого конца войны Эстер – её звали Эстер – из подвала не выходила. Она просидела там все эти годы! Все годы войны отец и мать Вилберта прятали у себя в подвале еврейку. Родной брат отца, Клаус, тот был настоящий наци, служил в гестапо, знал, что брат прячет свою первую жену, но не выдал... А когда Вилберт подрос, ему стали поручать носить ей еду. И он справлялся. Лестница была крутовата, но он же взрослый, почти мужчина, и не боится крутизны и темноты! К тому же там, в подвале горела лампочка, и хотя Эстер стала бледная, как смерть и её огромные глаза в полутьме так странно светились, он совсем её не боялся. Наоборот: страшно к ней привязался. Они очень подружились.

– Мы с ней были ближе друг к другу, чем я с матерью, – сказал он.

Эстер в молодости закончила академию искусств, участвовала в выставках. Она писала небольшие пейзажи, пока не... словом, до всего этого дерьма. В подвале очень тосковала без дела, говорила, что это – самое трудное: руки без работы ноют, болят по-настоящему. Тогда Вилберт украл для неё золотую краску. Просто спёр, прости Господи! В их церкви неподалеку, во Фрауэнкирхе, в подсобке работал мастер, подправлял то и сё, какие-то завитки на алтаре, на деревянных хорах. Уходя на обед, так всё и оставлял. Надо было так украсть, чтоб незаметно. Больше всего было банок с золотой краской... и Вилберт не то чтобы грабил мастера, а так... подворовывал. Подкрадётся, снимет крышку с ведра и зачерпнёт в баночку. Зато бумаги было навалом! Покойный дед до войны владел писчебумажным магазином, и её много осталось – хорошей толстой упаковочной бумаги... Эстер писала и писала золотой краской свои пейзажи: золотые деревья, золотое озеро, золотой мостик над ручьём...

И знаете, она пересидела фюрера! Когда пришли советские войска, выползла из подвала, стала получать продовольственные карточки и кормила их всех – всю семью. Они и выжили за счёт этих продовольственных карточек.

– Мои родители умерли рано, – говорит он. – А вот Эстер дожила до восьмидесяти девяти и умерла совсем недавно. И всю жизнь была для меня самым близким человеком... Конечно, работала до последнего, писала акварели – пейзажи в основном. Была известным художником. Но знаете что? Никогда больше не использовала в работе золотую краску. Зачем? Другой полно, всякой-разной. Все её пейзажи такие прозрачные, лёгкие – прямо ан-

гельские. Словом, искусствоведы и критики знали Эстер именно по этим невесомым пейзажам.

После её смерти, а Вилберт, само собой, остался единственным наследником, после смерти в мастерскую Эстер хлынули эксперты музеев и галерей.

– Увидели её золотые подвальные пейзажи – чуть с ума не сошли! Она ж их никогда не выставляла, не хотела. Говорила, это совсем особый, нетипичный этап в творчестве. Вцепились, давали огромные деньги. Я отказался... И потом всё письма слали, с музейными печатями да гербами, подсылали каких-то своих гонцов, увеличивали сумму, пытались уломать. Но я – на-а-йн! Я не продал! Я развесил их по всему дому – пусть сияют! Золотой лес, золотое озеро, золотой собор...

– Я – шофёр, дальнобойщик, – добавил он, и кружка в его рыжей волосатой лапе казалась небольшой чашкой. – Дома не бываю по пять-шесть дней. А когда возвращаюсь и захожу к себе, особо если полдень и солнце в окна, навстречу мне – волны золотого света!

Дина РУБИНА.